

Гумен А.С.

21/89

Лит. газ. - 1989 - Июнь (№ 23)
с. 11

«...Всяк сущий в ней язык»

Николай СКАТОВ

СОВСЕМ недавно был 1987 год — 150-летие со дня страшного, погубившего для нас дня смерти Пушкина — год скорби. И вот уже год 1989-й — 190-летие со дня рождения Пушкина — год радости, год воскресения! Большой смысл нашей жизни заложен в ритме этих возвращений, в этих неустанных приливах и отливах, в этих постоянных обновлениях Пушкиным. Видимо, необходимо время от времени особенно глубоко вдохнуть в себя воздух пушкинского бытия. Ф. Раневская признавалась, что даже в пору физических недугов она лечилась Пушкиным.

Когда-то воронежский прасол Алексей Кольцов написал думу, которую хотел назвать «Бог». А усомнившись, что под этим заглавием ее пропустит цензура, придумал другое, как, очевидно, наиболее близкое — «Шекспир». Белинский позднее назвал ее «Поэт». И он же, Белинский, свидетельствовал, что Кольцов смотрел и на Пушкина «как на божество какое-нибудь». Говорил же П. И. Чайковский о несомненном для него божественном происхождении Льва Толстого.

И все-таки ни Толстой, ни Достоевский в этом смысле не сравнимы с Пушкиным. Думаю даже, что в самое худое время мы во многом спасались и спаслись Пушкиным. Отсюда наша почти иступленная к Пушкину тяга и любовь: не случайно возникло то, что получило название «народное пушкиноведение», — вещь вряд ли возможная применительно к любому другому писателю, сколь угодно великому.

Отсюда — и это не простое любопытство — внимание к мельчайшим деталям его быта, к любой мимолетной встрече, к каждому вроде бы случайному слову. Иных пушкинистов и знатоков чуть ли не бесит такое знание наряду с незнанием собственно творчества. Но и это не должно удивлять: образ Пушкина существует в нашем национальном бытии

уже сам по себе, как бы помимо даже стихов. Так иной раз истово чтущие Христа могут не знать и трех строк Священного Писания и спотыкаются сразу за первыми словами «Отче наш...». Недавно, рассказывая об одном экскурсионном посещении пушкинского музея, А. В. Гулыга вспомнил чью-то реплику: «Если у народа нет Бога, у него должен быть Пушкин».

Да, в годы, когда иные духовные ценности искажались, деформировались или были отчуждены, для нас именно Пушкин брал на себя почти всю полноту духовной власти, компенсируя, возмещая, удовлетворяя и снова и снова подтверждая старый тезис: «Пушкин — наше все».

Не исключено, что сейчас, когда духовная жизнь общества побежала столь многими потоками, и светлыми, и мутными, образ Пушкина в этой своей миссии уникального представительства «за все» может отступить или, во всяком случае, не столь наглядно себя заявлять.

Но тем более актуализируются ныне те или иные стороны пушкинского мироощущения. Скажем, сейчас для нас — особенно национальное и интернациональное. Пушкин не теоретизировал, как нужно здесь поступать, и уж тем более не учил, но тем не менее научил — навсегда. Он не предлагал отвлеченных решений, но явил практическое разрешение и стал примером. В нашей культуре не было поэта столь национального, но именно поэтому — столь интернационального, не было русского человека, столь полно выразившего оба эти начала — одно через другое.

Как известно, «в начале было Слово». Не только в том смысле, что при начале чего-то было, да и отошло. Слово — в начале, в основе, в сути всего. Поэтому-то, если еще раз вспомнить Евангелие, «Слово было у Бога, и Слово было Бог». Пушкина недаром часто называли Богом русской поэзии, русской литературы, в сущности — русской жизни. Может показаться, что я не по делу злоупотребляю библейскими формулами, но, думается, в данном случае только их предельно концентрированная сила наводит на понимание значения Пушкина в русской жизни.

Пушкин прежде всего есть слово. Белинский, может быть, в спорном для нас, в плохо и искаженно сейчас воспринимаемом, но, если вдуматься, удивительно глубоко определенно назвал Пушкина поэтом формы. Пушкин действительно оформил русский мир. Он дал ему слово (видимо, нет нужды говорить, что Пушкин стал персональным выражением всенародного, общенационального коллективного усилия). Он создал русский литературный язык, выразив тем и представив идеальную суть русского национального характера как суть интернациональную, способную к органичному восприятию многонационального и общечеловеческого. При этом Пушкин отнюдь не был одним из тех, кого уже

К 190-летию со дня рождения А.С. ПУШКИНА

современный казахский писатель Нурпеисов зло и точно назвал гладко обструганными интернационалистами. Чуткий А. Ремизов записывает: русский человек должен говорить языком русским — языком Пушкина. Вяземский вспоминал, что оскорбление, нанесенное русскому языку, поэт принимал за оскорбление, лично ему нанесенное, то есть как бы отождествлял себя именно с русским языком.

Подробнее я говорю об этом в журнале «Наше наследие». Здесь же лишний раз подчеркну: не нужно упрощать процессы — сложные, противоречивые, нарастающие, ослабевавшие или обострявшиеся. Случайно ли создатель русского национального литературного языка в пору своего становления получит кличку Француз? И что было бы с русским литературным языком, который создавал Пушкин, если бы еще с детства не предстала перед ним столь гармоничная инациональная языковая и поэтическая система, каковую явила Франция? Что не помешает Пушкину позднее, в 1824 году, посетовать на недостаток «проклятого своего воспитания» и вместе с тем почти тогда же, в 1825 году, написать Вяземскому: «Ты хорошо сделал, что заступился явно за галлицизмы. Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай Бог ему когда-нибудь образоваться наподобие французского (ясного точного языка прозы, то есть языка мыслей)». Лишь к концу прошлого века образование «русского метафизического языка» стало первым условием взлета русской философ-

ской мысли. Сложилась эта «метафизика» органично и исторически. Попробуйте выбить из-под нашей «метафизики» (Н. Бердяев, Л. Шестов и др.) такую опору, как Достоевский, — что останется? В свою очередь, попробуйте представить Достоевского без «метафизики». Пожалуй, он-то прежде других и утвердил, завершая пушкинское пожелание, «русский метафизический язык». Не потому ли В. Розанов, соглашаясь с К. Леонтьевым в критике общего взгляда Достоевского на христианство, писал: «Сперва Легенда («Легенда о великом инквизиторе», — Н. С.) поражает блеском и глубиной: афоризмы из нее и навсегда остаются глубокими, прекрасными. Но только афоризмы: в целом Достоевский построил совершенно невозможную (и неверную) концепцию христианства и церкви...» Но здесь все и дело-то в афоризмах, в особом метафизическом русском языке, на котором и заговорила почти немедленно вся русская философская мысль: как та, что соглашалась с Достоевским, так и та, что с Достоевским не соглашалась. И, кстати сказать, постоянно ухаживший в афоризм Розанов особенно. Так начатый Пушкиным в начале века круг замкнулся в его конце.

Слух обо мне пройдет по всей
Руси великой,
И назовет меня всяк сущий
в ней язык,
И гордый внук славян, и финн,
и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
На многое наводит сейчас эта формула. Может быть, мое заключение покажется прямолинейным и грубым, и все же я ре-



шусь на него, так как в сущности речь пойдет о том, что и как заключила жизнь «Руси великой». Конечно, Пушкин употребляет слово «язык» в значении «национальность», «народ», но все-таки не случайно же именно он называет «национальность», «народ» словом «язык». Иначе говоря — язык здесь равен нации, народу.

Все случилось по предвидению Пушкина, вполне обоснованному: ведь русский язык с Пушкиным стал языком гениальным, языком всемирным. Но каким это оказалось чревато драматизмом, связанным с тем, что на русском языке — языке Пушкина — заговорил в стране «всяк сущий в ней язык»! Драматизмом — и для «всякого сущего в ней языка». Драматизмом — и для языка Пушкина. В чем дело? Русский язык стал, как то и пристало мировому языку, языком, по известной формуле, межнационального общения. Русский язык у нас в стране стал языком прямых связей всех со всеми. Такова его задача: чисто служебная, жизненно важная, житейская практическая — и абсолютно необходимая. И здесь следовало бы определить целый ряд отношений — великих преимуществ и больших издержек, непосредственно с этой ролью связанных.

Несколько лет назад я с одним узбекским писателем оказался в Западной Украине. Хорошо говорившая по-русски хозяйка наша тем не менее подчеркнуто предпочитала объясняться с нами на родном своем языке. Для меня, славянина, большого труда такой поворот дела не принес. Узбек же, хотя и неплохо говоривший по-русски, здесь-то вынужден был испытывать все затруднения, которые приносит незнание языка. К концу пребывания узбек звал украинку к себе в гости, но сказал, что говорить он с ней там будет только по-узбекски. Я не думал, что бойкая баба смутится, но она все-таки покраснела и, кажется, тут же перешла на русский.

Русский язык в этой своей служебной роли особенный. Но в процессе многосторонних национальных общений он проходит через тяжкое историческое испытание, как никакой другой отдает себя всем, примитивизируется, беднеет. К тому же он прежде всего оказывается во власти так называемых средств массовой информации с их тотальным изготовлением языка клишированного. Необходимость и необходимость своеобразных словесных блоков и штампов для таких средств превращает их в орудие особого типа речевой антикультуры. Так возникает у «националов» отталкивание от того обезжиренного и обезвоженного суррогата, который как бы представляет за русский язык, и обращение к своему родному языку как противостоящему этой беде живому началу.

В то же время русский язык, как никакой другой в стране, может обращаться ко всем ее языковым образованиям, ко всем ее словесным богатствам. Опять пример — скорее бытовой. Замечали ли вы, как, скажем, кавказцы объясняются по-русски

— заслушаешься: ярко, живописно, часто совершенно неожиданно находя и пуская в оборот слово, выходя к его сути, к его первозданности, обновляя язык, играя им, возвращая русскому языку свежесть и новизну. А вот ведет передачу популярный эстонский комментатор-интервьюер. Он не болтает легко на русском, а работает с ним сдержанно, строго и точно и заставляет собеседника не болтать, а работать, обязывает русского собеседника отвечать за русский язык.

А уж если говорить о литературе, разве без украинской языковой стихии мы имели бы одного из величайших — Гоголя? Дело не в украинизмах, а в демократизации, обновлении и освежении с этой позиции всего строя русского языка, органично такую стихию вобравшего, а по сути, может быть, впервые на таком уровне ее открывшего и представившего.

Этот пример хорошо поясняет и существо дела. Историческая миссия русского языка как средства межнационального общения по сути большая и высшая, чем быть неким внутрисоюзным эсперанто.

И опять вспоминается Пушкин, объясняемый Достоевским. «И эту-то способность, — писал Достоевский о всемирной отзывчивости Пушкина, — главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный поэт. Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себе с такой силой гений и чужого, соседнего, может быть, с ними народа, дух его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призвания...» (разрядка моя. — Н. С.). С этой точки зрения понимаешь, что если мы имеем великодушные произведения наших национальных литераторов, то не просто постылку, поскольку подобралась группа хороших переводчиков. С этой точки зрения принципиально появление такого писателя, как Чингиз Айтматов. Масштаб его прямо связан с тем, что он стал русским писателем, но остался писателем киргизским. Увы, подчас видишь, что иной национальный писатель раздражается против русского языка, но ведь именно потому, что он не постиг не только дух русского языка, но и дух своего языка, всю глубину этого духа и все его призвание. Одно из главных препятствий здесь та полукультура, та полунатура, а гибельности которой предупреждал в «Бесах» Достоевский: «...самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия».

Выход пока у нас в стране один: он открывается только на путях подлинной культуры — культуры всякого сущего в ней языка, в том числе и культуры русского языка, но именно высокой культуры духовного проникновения, а не полукультуры элементарного бытового владения. В сущности, только тогда можно будет уверенно сказать, что Пушкин в стране, наконец, назван и что назвал его «всяк сущий в ней язык».